

Александр Рубцов

БЫТИЕ СОЗНАНИЯ. ИСТОРИЯ НЕОКОНЧЕННОГО ПРОЕКТА

На прошлых Грушинских чтениях уже упоминалась книга «Бытие сознания», которую мы начинали писать в созданном тогда в ИФ РАН подразделении с несколько экзотическим наименованием: Сектор общих проблем общественного сознания. Сильная такая тавтология. Кстати, наш нынешний Центр философских исследований идеологических процессов Института философии РАН – прямой наследник того сектора, который создавал БГ. (Понятно, что «БГ» это Борис Грушин: для экономии букв мы все в переписке называли себя и друг друга инициалами; я назывался, соответственно, АР, каковым с подачи БГ до сих пор и остался). И так до конца своих дней БГ оставался в этом нашем Центре главным научным сотрудником.

А тогда, в начале 1980-Х Институтом командовал Георгий Лукич Смирнов, человек аппаратный и с идеологической точки зрения вполне правоверный – классический консерватор в «хорошем», ждановско-сусловском смысле. В то время еще не было особенно явных признаков будущей оттепели, но что-то в воздухе носилось. Тем более должна была чуть новые веяния партийная номенклатура высшего звена. Вот Лукич (как в институте его звали между собой) и чутял. Тогда это называлось «вышел до ветру свежих перемен». Он был человек не только консервативный, но и по-своему дальновидный. Может быть, ему даже подсказали... И в самом деле, вдруг ветер задует, а у тебя уже что-то свежее есть, возможно, даже передовое. А нет, так нет (если не задует). Сунуть рукопись под сукно и изгнать Грушина, от которого всегда много шума из всего – дело привычное.

Короче, неожиданно для всех в Институте философии на ровном месте появилось новое подразделение с таким вот довольно интересным по тем временам названием, которое должно было, по идее, что-то такое прорывное сделать в области социально-политической философии, теории сознания и идеологии. Лучше ничего не придумали, как бросить на эту амбразуру Грушина.

Думаю, это был оптимальный вариант. БГ идеально сочетал теорию с «полевыми» навыками и как никто в то время мог рассуждать о сознании общества со знанием дела и даже цифрами и примерами в руках – если не с готовой эмпирией, то во всяком случае с редким пониманием, что это такое.

Он был достаточно убежденный, но творческий марксист, с богатыми фантазиями и даже опытом идейного сектантства в духе «диалектического станковизма», который они придумали вместе с еще тремя диастанкурами – Мамардашвили, Зиновьевым и Щедровицким.

К тому же БГ мог не только освежить содержание, но и отличиться по части формы, что в академической среде того времени было редкостью. Он и отличился.

Плюс страсть ко всякого рода систематике и схематизмам в духе «Логике исторического процесса» или «*In pivo veritas*». Было ясно, что даже если поперет фронда, а то и диссидентство, в любом случае это будет по всей внешней видимости Настоящая Наука, по крайней мере с некоторого расстояния. Что уже не так страшно.

Сразу же, как был создан сектор, была придумана и книга «Бытие сознания», которая стала для нас всех на тот момент главной работой. Можно сказать, сектор практически отождествился с той рукописью. Все остальное – статьи, сборники, семинары, конференции – было попутным и работало на главную тему.

Сразу хочу сказать, что довести книгу до публикации и даже до приличной степени готовности не удалось, хотя в какие-то периоды мы даже десантировались в академический пансионат в Мозженке рядом со Звенигородом, чтобы без помех и соблазнов, на всем готовом, в режиме советского дома отдыха пахать с утра до ночи и в полном контакте друг с другом, через коридор или стену. К тому же там еще сауна, а для БГ это фетиш.

Пока мы создавали концепцию Бытия и Сознания, оттепель трансформировалась чуть ли не в перестройку и содержательная, конъюнктурная составляющая в жизни стала эволюционировать с такой скоростью, что мы просто не успевали за этим паровозом, хотя идея была бежать как раз впереди него. Срываться в голую публицистику в этом тексте никто не собирался (хотя некоторые могли бы), а подавать теорию в стремительно менявшейся эмпирии (даже хотя бы только в ее образе, без систематизированной фактуры) не получалось из-за немыслимой скорости процесса. Потом открылись шлюзы нормальной эмпирической социологии и живых опросов, и Грушин, конечно же, бросился создавать фабрику ВЦИОМа, а потом и собственную службу общественного мнения «*Vox populi*». И создал все это. Да и у остальных повалили сверхкрупные проекты с живым внедрением и перспективой влияния на процесс более прямыми и действенными инструментами, чем коллективная монография для узкого круга. Но в тот момент книга была на самом острие.

Название выглядело страшно претенциозным, но было точным. В марксоидной философии выше и общее этих категорий ничего не было, а тут... Понятно, какие в этом названии имелись в виду смысловые переключки и как они читались. Это как если бы научный коллектив – группа отвязанных экзистенциалистов замахнулась на коллективную монографию «Небытие Ничто».

Но название, помимо замаха и скрытой игры слов, выражало еще и две главные идеи книги.

Первая была связана с принципом содержательного исследования сознания – в противовес сугубо формальному его анализу. В нашей более или менее строгой теории сознания того времени вообще не обсуждался вопрос, что именно люди думают и почему они думают именно так, а не иначе. Тема была запретная: люди уже думали, мягко говоря, разное и не всегда правильное, а считалось, что это не так. Правда, было полно книжек с названиями, в которых первым и главным было слово «развитие». Например, как-нибудь так: «Развитие общественного сознания казахского (узбекского, белорусского, татаро-монгольского и пр.) народа после Великой октябрьской социалистической революции». Но там, во-первых, не было никакого развития, а во-вторых, ни слова правды – голая конъюнктура, безбожно заштампованная. В том «развитии» часто даже вовсе не было генезиса, а было только про то, как сейчас все хорошо.

И было множество формальных сочинений про структуру общественного сознания, напоминавших плакаты со схемами разделки туши, висевшие в мясных отделах. Вот сознание и разделявали на классовое, на индивидуальное и общественное, научное и обыденное, на многообразные его формы, как-то друг на друга влияющие – наука, искусство и литература, философия. Нарезки были сами по себе иногда красивые, но в самих кусках мяса не было и что-либо съедобное приготовить из них было невозможно. Типичное «рисование квадратиков», к тому же практически никак не привязанное к времени и месту. Мы же порывались говорить о сознании советского общества конца XX-ого века со всеми его противоречиями, штампами, инерциями и не всегда симпатичными свойствами. А тут еще в какой-то момент ненадолго воцарившийся Андропов заявил, что мы якобы «не знаем общества, в котором живем» (кстати, БГ эта фраза очень нравилась, а по мне, это вообще самое мудрое, что было сочинено людьми с Лубянке за всю богатую историю их участия в духовном производстве).

Конечно, эмпирической базы, какую БГ потом подвел под свои «Четыре жизни России», у нас тогда под рукой и на весь проект не

было. Не было и полевой, опросной социологии, в том количестве, в каком она возникла чуть позже. Хотя как раз в то время мы по заказу Союза кинематографистов проводили первый мощный почтовый опрос (если помните, был тогда эпохальный съезд СК – не Бастрыкина, а Элема Климова, если не ошибаюсь – ну да, тогда же Эрих Соловьев в стенгазете ИФ «Советский философ», которую мы с ним возродили, писал про Толстых: «И стал оружием вроде вил у Ворошилы Климова»). И вот тогда мы провели мощное исследование, в котором response (возврат) был за 70%. Питерский Докторов, главный спец в этом деле, тогда нам не поверил и сказал, что при почтовом опросе такого не бывает. Но честно было. И не очень даже удивительно. Все были возбуждены, а к тому же там действительно в начале опросного листа стояли совершенно пронзительные слова, так что не ответить респонденты практически не могли: «Это касается непосредственно Вашей судьбы и судьбы Союза, Вашей жизни, Вашей профессии, всей российской кинематографии...». Грушин учил не жалеть слов и места для таких вводов, и мы их делали чуть не на надрыве.

Но я возвращаюсь к той книге. В эмпирию и экземплификацию (оснащение примерами) мы особенно не ударялись, но старались писать о содержательных характеристиках того сознания, которое наблюдали в жизни в самых разных его проявлениях – и в динамике, и в конформизме. Любимые БГ «тексты массового сознания» – от передовых в «Правде» и речей на съездах до шлягеров и анекдотов – были под рукой, плюс за Грушиным еще был опыт Института общественного мнения при «Комсомолке», Таганрог. И еще БГ как-то особенно ценил наблюдения Жванецкого и все мечтал едва ли не всерьез присвоить ему степень доктора социологии, хотя вроде бы за некоторые тексты можно было спокойно давать и степень по философии. Но тем самым Грушин, видимо, подчеркивал отношение этих текстов именно к точному знанию, а не только к литературе, хотя бы и философической.

Вторая грушинская идея была связана с тем, что сознание, как правило, исследовали как данность, как готовый результат, как продукт... неизвестно чего. Грушин предложил исследовать сознание как процесс. Эта идея и была заложена уже в самом названии книги – «Бытие сознания». Незадолго до этого вышла книга под началом Толстых, которая называлась «Духовное производство», и в ней уже был намек, что можно двигаться к процессам. Но там это все было в зачаточном состоянии. Мы же хотели представить сознание общества не как вещь, а как жизнь, как «бытие», и не просто как процесс, а как связанное множество разных процессов, переходящих друг в друга и никогда не

прекращающихся. Мы исследовали закономерности этих процессов, их существенные и устойчивые свойства, к тому же с акцентом на специфике сознания именно советского общества и именно в посттоталитарной фазе его развития хотя и с изучением его генезиса. В общем, книга была диалектической и диалектичной до самого мозга наших костей, в ней все текло, изменялось и мерами возгоралось (и, увы, так же мерами затухало). Это было тем более естественно, что вторым классиком в команде был Феликс Михайлов, в некоторых аспектах еще больший диалектик, чем БГ. Феликс был знаменит своими работами по теории сознания – любимец психологов и медиков, а еще известный тем, что ему лично писал Бертран Рассел.

Таким образом, книга была в основе своей вроде бы марксистской, но в лучшем виде, насколько в то время это вообще было возможно. Феликс и Грушин, конечно же, особо ценили ранние работы Маркса, только что разрешенные тогда к вольному использованию и поднятые на щит всеми, кого душила казенная «философия» в духе Румянцева, Федосеева и пр. Это позволяло уйти от вульгарного материализма и упрощенного экономического детерминизма в понимании сознания и социальных процессов в целом. А дальше каждый из участников проекта носился со своими идеями и целыми избранными направлениями: Грушин – с текстами и коммуникацией, Феликс – с «ансамблем общественных отношений» и теорией диалога в духе Библиера, Рыклин вообще заигрывался в постмодерн с бессубъектными формами и прочей на тот момент ересью, я носился с политической герменевтикой и превращениями идеологических форм в социальном пространстве и историческом времени, с идеей предельно строго заузить категорию «развитие» применительно к сознанию. Но была проблема все это уложить на окружающую нас социально-политическую реальность и обеспечить если не «взгляд из окна», то хотя бы «связь с жизнью». Это было непросто.

Но как бы там ни было, у меня до сих пор нет особых претензий к замыслу той книги с точки зрения ее идеологической заряженности и даже методологии. Она была совершенно правильная, на мой взгляд. Даже в те уже не слишком людоедские времена не вполне ортодоксальным марксистам, таким как Грушин и Феликс, было сложнее, чем в наши свободные времена марксистам вполне ортодоксальным. Мы же, отвязанная молодежь, вовсе не чувствовали методологических ограничений схемы. Наоборот, мне даже было особенно интересно выдержать придуманную конструкцию (теории и текста) в чистоте, что было не просто, поскольку соавторы норовили выйти за отведенные им

тематические пределы, чем размывали стройную архитектуру концепции и книги. Мое первое архитектурно-градостроительное образование тут восставало не меньше, чем перфекционизм патологического систематика Грушина.

Схема была изящная до неловкости. Все развивалось просто по «Капиталу». Если честно, это и был бы по замыслу с некоторыми оговорками упакованный в один том «Капитал», но специально про сознание в его социальных проявлениях и на материале социума эпохи заката СССР (хотя, конечно же, о подлинных масштабах этого «заката» тогда мало кто догадывался и никто не писал, по крайней мере в системный науке). Идея была такая: если сознание это процесс, то это и есть процесс производства сознания, а значит, его можно и нужно исследовать в классических абстракциях политэкономии: производство, обмен и простое воспроизводство, расширенное воспроизводство. К этому еще была добавлена пятая глава: «Развитие», которую мы писали пополам с Грушиным. Там было особенно интересно, что именно, какие изменения сознания можно строго подвести под это понятие – если не называть развитием все подряд, как это делалось в конъюнктурных текстах.

Поначалу ход с абстракциями политэкономии казался совершенно формальным и чуть ли не наглым: взяли голую схему и собрались анализировать по ней такую тонкую материю, как сознание. Но оказалось, что все это нормально работает. Иными словами, это была конструкция, за которую я и сейчас готов отвечать.

Идея была такая: мы начинаем с первых, самых сильных абстракций – и так восходим к конкретному. То есть условно берем сознание в момент его производства (в узком смысле) – до того, как оно вступает в какие бы то ни было контакты и коммуникации, когда на него начинает влиять социальный контекст. Если очень упрощенно: сознание в этот момент уже производится, но люди еще «не поговорили» друг с другом и с собой, а потому не успели заморочить головы ни друг другу, ни самим себе. Сознание «до слов», в точке, где его практически нет. Но зато есть не зависящие от сознания объективации – объективный контекст его порождения, условия возникновения и т.п. То, что потом и будет «превращаться», каким сознание должно было бы быть, как если бы оно порождалось непосредственно самой реальностью и не начинало бы тут же творчески мутировать. «Без пурги». По крайней мере, я так понимал эту абстракцию, и с Грушиным мы в этом сходились (хотя я сейчас описываю эту идею несколько иными словами, чем тогда).

Проблема была в том, что эту первую главу отдали писать Феликсу. Это было жестоко по отношению к человеку, который про сознание рассуждал очень красиво, с почти музыкальными интонациями опытного и всеми обожаемого лектора, но... по большей части как раз в терминах «ансамбля общественных отношений», диалога, со-знания и т.п. А тут ему предстояло в этой первой абстракции на все это любимое наплевать и забыть и, по сути, описать «советскую модель» в ее политэкономической «материи». Феликс страдал, но в итоге дошел даже до вопроса о собственности на землю, что, как мы помним, не было толком разрешено и в ходе всех последующих реформ, а до конца, возможно, не урегулировано и по сию пору.

Вторую главу, которая была посвящена «обмену», или «обращению» сознания, писал Грушин. Здесь все было достаточно просто, поскольку анализировалась коммуникационная система, функционирующая в данном обществе, вся его информационная машинерия. БГ в этом разбирался, а нагнать остроты не составляло труда. Проблема была бы лишь в том, что после ухода советской системы ситуация поменялась кардинально и мгновенно. Возникла в одночасье совершенно другая коммуникационная реальность, которую понимать и описывать пришлось бы заново. Как потом оказалось, как раз этом инерции было меньше всего – в отличие от самого сознания и прочих институтов, участвующих в его производстве.

Третья глава была, естественно, «Простое воспроизводство сознания» (точные формулировки названий глав несколько менялись по ходу работы). Это тоже была абстракция, но следующего уровня. Предполагалось, что циркулирующие в системе коммуникации содержания воспроизводятся сознанием «как есть» и без искажений, без творческой переработки, «просто». Этим у нас занимался Миша Рыклин, что тоже было проблемно, поскольку его, как я понимаю, вообще не очень интересовало удержаться в ограничениях, задававшихся этими абстракциями. Он писал очень интересно, но, по моим понятиям, чуть ли не сразу обо всем, поверх схемы. Во всяком случае с «не зависящими от сознания объективациями» он постоянно залезал на территорию Феликса, а с напоминанием о том, что идеология не только система идей, но и система институтов, сразу на мою и грушинскую территории. Меня как энтузиаста схемы да еще с архитектурным перфекционизмом это очень заботило, к тому же мне казалось, что это скорее даже проблема самой главы: что бы там осталось своего, если бы куски, относившиеся к другим главам, раскидать по назначению. К тому же Миша писал в своем особом ключе,

примерно так же, как он пишет сейчас, и даже по языку его тексты с остальными, более традиционными по форме, монтировались, мягко говоря, не очень.

Хотя, если честно, почти такая же проблема была и у Феликса, который писал с пафосом и с каким-то почти речевым напором, близко к конспекту собственной профессорской устной речи, чуть ли не как стенограмму красивой лекции, предполагающей влюбленность аудитории. Феликс вообще любил и умел быть привлекательным. На него во время студенчества в МГУ очень всерьез заглядывалась сама Раиса Максимовна, по поводу чего Грушин периодически проходил: «Вот какой же ты, Феликс, недалёковидный: женился бы на Раисе – был бы сейчас президентом СССР».

Но пока вытаскивали концепцию, Грушин на это разностилье наших первых вариантов глав особенно не реагировал. Несколько успокаивало то, что наши с ним главы нормально монтировались, а в остальном он мог бы пройти «одной рукой» и жестко, без лишних сантиментов все причесать. Было бы что причесывать.

Хотя, конечно, и сам Грушин был стилист – только это был особый стиль. Там, где текст был сухой до невозможности и даже несколько корявый, в этом было особое щегольство. Как и в расставлении немыслимого порой количества скобок. Любил БГ и эффекты, иногда просто сугубо литературные, например, в виде ослепительно ярких цитат, из того же Жванецкого. В самом деле, «Какой тут борщ, когда такие дела на кухне!». Это, в частности, к вопросу о том, чем занимались в советское время основные институты, когда даже материальное производство в первую очередь производило не изделия и продукты, а правильного советского человека.

Как-то я особенно развесисто распинался по поводу своей четвертой главы про расширенное воспроизводство (или по пятой про развитие?), и Грушин, не останавливая, сказал Феликсу как бы на ухо, но театральными шепотом: «Хорошо излагает, сука!». Они вообще любили Ильфа и Петрова и постоянно их цитировали. Хорошо, я тоже знал наизусть канонический текст, а то бы испугался, тем более по молодости.

Когда в самом начале распределяли главы, расширенное воспроизводство особенно всех напрягало, хотя мне именно эта тема казалась не самой сложной и при этом особенно выигрышной.

В общую схему эта категория вписывалась идеально и понятно как. Вот есть производство. Уже есть содержание, но еще нет субъекта и слов. Есть только то, что тут же станет словами и скрытыми интенциями. Нулевой цикл. В этот момент важно как раз

абстрагироваться от того, что люди говорят сами о себе. Или целые режимы, даже тем более режимы. Это все нормально. Кстати, и структуралисты, и постструктуралисты Маркса именно за это ценили и ценят. Отсюда и идея исследовать примитивные культуры по объективациям и исходя из их собственной структуры отношений, а не как отклонения от правильной нормы «белых людей в пробковых шлемах» (как любит сейчас самовыражаться Эдик Надточий). Аборигенам Советского союза очень не хватало (да и сейчас не хватает) своего Леви-Стросса. Мы тогда этих слов вслух не употребляли, но сейчас бы я сказал, что мы хотели преодолеть штампы колониальной науки в отношении к самим себе, то есть выйти на простор постколониализма. Теперь это особенно забавно выглядит на фоне теории внутренней колонизации, как она развита трудами Ключевского и Эткинда, а также Сергея Соловьева.

Так вот, далее (после абстракции простого производства) обнаруживаются мегамшины коммуникации. Пока мы их анализируем так, будто и они пусты с точки зрения содержания. Но затем, в простом воспроизводстве, уже возникают оформленные содержания – то, что люди сообщают друг другу в процессе коммуникации и общения с самими собой – со-знание, упакованное в языке и речи (писать нормальные человеческие слова через внутренние дефисы особенно любил Феликс, у него такого было по два-три на абзац, а то и на строку).

А уже затем оказывается, что в живой реальности, если уж совсем без абстракций, эти содержания воспроизводятся именно расширенно: люди чего-то не понимают или недопонимают, толкуют чужие слова и тексты по-своему, ретранслируют их в измененном виде и творчески развивают в зависимости от особенностей своей ситуации или от изменений во времени. Строго говоря, в природе только расширенное воспроизводство и есть, а если даже допустить возможность простого воспроизводства сознания, то это был бы частный, редуцированный, предельный случай или даже просто пустое множество. Как-то трудно допустить абсолютное тождество содержаний хотя бы в двух коммуницирующих сознаниях, хотя бы это и были стопроцентно родные души.

Итак, расширенное производство сводилось к такой ситуации, когда «сознание» приходит по каналам коммуникации, но воспроизводится уже с субъективными деформациями, «искажениями».

Здесь тоже важно было найти свои объективации, по которым можно было это расширенное производство сознания отлавливать. Хотя, по мне, как раз это особой проблемы не представляло.

Причем именно для расширенного воспроизводства. Всегда есть разные толкования одного и того же канонического текста, даже просто разные пересказы. Всегда что-то воспроизводится, а что-то умалчивается, прореживается – и это тоже объективации расширенного воспроизводства. Этот метод анализа в чем-то близок к тому, чем занимается следователь, когда заставляет подозреваемого много раз, вновь и вновь отвечать на один и тот же вопрос, десятки раз пересказывать одну и ту же версию или легенду. Вот на этих легких отклонениях от канонического ответа (если и когда таковой вообще существует) и ловится функционирование сознания, а иногда и сама его «правда». То есть правда тут не том, что есть истинное толкование, а в том, что изменения толкования многое говорят о толкующем сознании.

Да, кстати, каждой из абстракций у нас были параллельно даны и более привычные понятия: распространение (обмен), усвоение (простое воспроизводство), функционирование (расширенное воспроизводство). Действительно, расширенное воспроизводство это, по сути, и есть тот процесс, в отношении которого можно сказать, что здесь сознание в полном смысле слова «функционирует» (чем подчеркивалась его особая активность).

Показать все это на наглядных примерах, с содержанием, было в принципе не трудно. Но для реализации идеи, как я ее понимал, важнее было выявить значимые и устойчивые характеристики такого рода эффектов и процессов, которые по-новому и остро характеризовали бы предмет – советское общество, каким оно оказалось на тот момент, но с учетом его генезиса, как минимум, в пределах «советской модели». Копать глубже в историю можно было лишь в ограниченных пределах, учитывая дефицит времени и места (объем текста).

Одной из значимых и особенных характеристик функционирования такого рода «советского» сознания было, на мой взгляд, особое место расширенного воспроизводства, которое можно было бы обозначить в терминах «негативной герменевтики» – своего рода стремления к непониманию. Речь идет об особой, в некотором смысле положительной функции такого непонимания. Это если утрировать: точнее было бы говорить о радикально диверсифицированном понимании, причем как в социальном пространстве, так и в историческом времени. Эту схему я позже как раз и развил в модели «интеграции через непонимание», несколько раз опубликовал ее, причем в достаточно разных приложениях. В том числе в книге «Российская идентичность и вызов модернизации», в которой сразу после титула написано: «Памяти Б.Грушина». Отчасти это и памяти «Бытия сознания».

Специфика такого рода процессов состоит в том, что дробление и растаскивание смысла, его видоизменение, на определенных этапах и в определенных ситуациях играет именно интегрирующую роль: текст трактуют как свой самые разные субъекты-интерпретаторы.

Схема интеграции через непонимание в полной мере работала в идеологии советского периода, когда одни и те же канонические тексты идеологии воспринимались по-разному в разных точках социального пространства и по-разному трактовались в разные периоды времени. Но при этом выявление разночтений такого рода всегда было надежно заблокировано. Нетрудно представить себе, какие трещины прошли бы в советском обществе, идеологически интегрированном на этих разночтениях, если бы политическим и социальным субъектам стали прозрачны сознания их контрагентов и они бы увидели, что в действительности эти контрагенты имеют в виду, когда озвучивают те или иные идеологические тексты. У Лессажа хромой бес «вскрывает» крыши ночных домов и показывает студенту ночную жизнь горожан. Этот образ я использовал еще в рукописи четвертой главы «Бытия сознания». Если бы можно было, как снятием крыши, вскрыть черепные коробки социальных субъектов советского общества и показать их содержимое всем заинтересованным лицам, они увидели бы, насколько в действительности различно понимаются одни и те же интегративные символы. Например, в партаппарате, в отделе пропаганды, у прогрессивно настроенной интеллигенции и в мозгах пролетариата. Или, например, в разных республиках СССР, в которых идеологические модели превращается во что угодно, осаживаясь на местную традицию, будь то Центральная Россия, Средняя Азия или Прибалтика. Если бы не эти скрытые разночтения, якобы «идеологически единое» общество разорвалось бы, как старый снаряд.

Феноменологическая социология пыталась решить главный вопрос: каким образом общество интегрируется посредством того, что люди каким-то образом все же понимают друг друга. Но оказалось, что некоторые парадоксальные реалии идеологической работы и жизни показывают, что общество в не меньшей мере может интегрироваться именно через непонимание, через неосознанные мутации смысла, не воспринимаемые как таковые, причем как в социальном пространстве, так и в историческом времени. Исследуя такие ситуации впору говорить о своего рода негативной герменевтике, которая в равной мере продуктивна и в синхронных, и в диахронных контекстах. Так, марксизм по-разному понимался в разных точках социума и даже соцлагеря, что

позволяло ему быть эффективно интегрирующей идеологией. Как я только что сказал, он же весьма по-разному понимался в идеологическом отделе ЦК, прогрессивной партийной журналистикой, представителями «философии оттепели» (например, у тех же диалектических станковистов) и идейно озабоченной творческой интеллигенцией, или, скажем, в рабочей среде, в системе партполитпросвещения. Достаточно разный марксизм исповедывался примерно в одно и то же время в СССР, в Китае и на Кубе или в бунтующей Франции. Но этот же марксизм весьма неоднозначно понимался и на разных этапах жизни советского общества. Можно утверждать, что на протяжении советской истории мы пережили несколько разных марксизмов. За этот период Запад сменил ряд господствовавших философий и политических теорий, переходя от одной доктрины к другой, тогда как СССР все это время упорно перечитывал и переосмысливал одну и ту же философию. Или вчитывал, если воспользоваться термином Мандельштама. Идентичность «лейбла» сохранялась, но начинка активно правилась, что и обуславливало повышенные интегративные возможности такой идеологии.

Хотя интегративность такого рода может быть поначалу очень эффективной, в конечном счете она так или иначе оказывается весьма неустойчивой. В чем-то это напоминает российский способ ведения коммерческих дел, когда люди быстро и легко сходятся в начале предприятия, не проговорив все до конца и, по сути, сдружившись на недопонимании друг друга – а потом скандально, иногда со стрельбой, расходятся после вынужденного прояснения исходных позиций. В начале 90-х это вообще было явление повальное.

Нечто подобное произошло с марксизмом. Он не сменился в ряду других не менее достойных предшественников и преемников в идейном окормлении общества (как это бывает в спокойно «ротируемых» идеологиях), а именно обрушился: был всем, а стал ничем. Причем во многом незаслуженно – если иметь в виду суть самой философии, а не способ ее трансляции и функционирования в идеологии и политике. Если Делёз и Гваттари могут спокойно выносить термин «капитализм» как концептуальный даже в название книги, то в нашей философской и политологической лексике это слово почти перестало употребляться. Типичная для нашего этикета ситуация: капитализм есть, а слова такого нет.

Все это ничему не учит. Например, в идеологической миниатюре нечто подобное проявилось и в истории с «суверенной демократией»: после некоторых перестановок во власти активисты и интерпретаторы этой идеи, быстро сдружившиеся было под одной

идеологической крышей, но с совершенно разными ее пониманиями, столь же быстро запомнили о своих недавних откровениях по поводу «доктрины» и оперативно перешли к другой знаковой лексике.

Конечно же, влияние той книги и Грушина в целом на этом не заканчивается. Для меня Грушин в тот момент вообще стал God Father в науке. Задним числом такое влияние находишь в самых разных проявлениях. Например, та же книга про идентичность и модернизацию начинается с попытки составить своего рода «объективку» для страны – типичную опросную анкету, а уже потом, в ответах на, казалось бы, совершенно формальные вопросы, выясняется, что тут вообще проблемы с именем страны и народа, с датами рождения и с родителями, с отношением к памятным датам, с пунктами о наградах и взысканиях... Даже с лицом (с портретом). Это называется, страна, как человек, «себя не помнит». Или «сама не своя». Вряд ли все это придумалось без влияния работы с Грушиным в целом ряде опросов. Это была одновременно и школа, и крайне увлекательное, даже радостное, веселое занятие. Как-то раз я перевернул страницу с вопросами очередного исследования, вставил ее вверх ногами в машинку и напечатал внизу «правильные ответы» (как это делалось тогда в популярных журналах). Только на секунду Грушин озверел от такого святотатства – потом вместе ржали, и он сам же всем показывал.

Но есть ходы мысли, связь которых с «Бытием сознания» более косвенная, а потому осознается не сразу и только когда специально, как сейчас, об этом задумываешься.

Думаю, на меня тогда очень сильное впечатление произвела сама возможность такой масштабной схемы в построении концепции. Много позже у меня стала излюбленной концепция многослойности времени в изменении сознания общества да и всей социальной реальности. Есть время быстрых политических изменений – то, что лежит на поверхности и что Бродель называл «пылью истории» (или «пылью событий» – сейчас уже не помню как там точно). И есть глубинные слои медленных изменений. Там эволюционируют структуры повседневности; сюда же я бы отнес то, что Фуко рассматривает как микрофизику власти. Эти слои движутся в истории с разными скоростями и в более или менее рваных ритмах. Так, за время брежневского застоя медленно, но верно в глубинах сознания и самой повседневности оттаивало то, что не успело оттаять в событийной истории хрущевской оттепели. Это только на поверхности все казалось застывшим и неподвижным: если иметь в виду глубинные процессы, то видно, что страна вошла в застой одна, а вышла из него совершенно другой. Тут все: язык и речь, системы одежды и питания, мода и музыка, потребление алкоголя и отношение к сексу, медицина и отношение к собственной телесности... Все это те самые объективации, на которые у нас тогда не хватило ни ресурсов, ни времени, ни самой свободы исследования.

Кроме того, в истории меняется характер взаимоотношения такого рода слоев и соответствующих им времен. Меняется характер воздействия событийной истории на медленную и наоборот, что является уже предметом своего рода метаистории – истории самой истории, причем не только в смысле описания, историографии, но и применительно к самому предмету, к «изменению изменений» (А.Ксан).

Но о том, как все эти идеи работают применительно к нынешней реальности, в следующей книге памяти БГ. Я думаю, ему бы понравилось.

Александр Рубцов,
руководитель Центра философских исследований
идеологических процессов, заместитель заведующего Отделом
аксиологии и философской антропологии Института философии
РАН